

## ВЛАСТЬ БЕЗ МЕСТА, МЕСТО БЕЗ ВЛАСТИ

### Бауман З.

*“Компания принадлежит тем, кто в нее инвестирует, а не работникам, не поставщикам и не сообществу, на чьей территории она располагается”* [1]. Так Альберт Дж. Данлэп, знаменитый “рационализатор” современного предприятия (или

de  
re  
seur

– тот, кто расчленяет, дробит, разделявает, рубит что-либо на части – как сочно, но точно назвал Данлэпа Дени Дюкло, социолог из Национального центра социальных исследований [2]) сформулировал свое кредо в хвалебном отчете о своей деятельности, который опубликован “Тайм букс” во имя просвещения и в наставление всем, кто стремится к экономическому прогрессу.

Говоря о “принадлежности компании”, Данлэп, конечно же, не имеет в виду чисто юридические отношения собственности, которые едва ли оспариваются и едва ли заслуживают упоминания, а тем более специального рассмотрения. Смысл высказывания Данлэпа содержится, главным образом, во второй части его высказывания: работники, поставщики и представители местного сообщества лишены права голоса при принятии решений теми, “кто инвестирует”; люди, реально принимающие решения, то есть инвесторы, имеют право отмахнуться и объявить несущественными и необоснованными любые требования, если сочтут их противоречащими интересам управляемой компании.

Заметим, высказывание Данлэпа содержит не декларацию о намерениях, а констатацию факта. Данлэп говорит так, как будто положенный им в основу принцип уже прошел все возможные проверки на прочность и жизнеспособность в экономической, политической, социальной и в любой другой реальности нашего времени. Этот принцип возводится в разряд самоочевидных истин, назначение которых – объяснить мир так, как будто сами эти истины не требуют объяснений; истин, на которых строятся умозаключения о мире,

и которые уже не воспринимаются как выводы, вызывающие сомнения и требующие доказательств.

Было время (можно было бы сказать “не так давно”, если бы общественное внимание не утратило свою устойчивость настолько, что неделю в политической жизни человек воспринимает не просто как долгий, а как гигантский срок), когда заявления Данлэпа многим показались бы не только не очевидными, но скорее были бы восприняты как боевой клич или сводка военных действий. В первые годы истребительной войны, развязанной Маргарет Тэтчер против местного самоуправления, бизнесмены один за другим считали нужным взбираться на высокие трибуны ежегодных партийных съездов тори, чтобы снова и снова вбивать в головы одну и ту же мысль, при этом они явно не сомневались, что ее надо именно вбивать, ибо для не настроенного уха она звучит дико и нелепо. Суть ее заключалась в том, что компании были бы рады платить местные налоги на строительство дорог и ремонт канализации, но они не видят никаких оснований оплачивать помощь местным безработным, инвалидам и прочим, за чью судьбу они не собирались брать никакой ответственности. То было в начале войны. Два десятилетия спустя она увенчалась полной победой, и Данлэп, диктуя свое кредо, уже мог с уверенностью ожидать согласия от каждого слушателя.

Нет особого смысла обсуждать, была ли эта война задумана тайно и со злым умыслом за закрытыми дверями офисов, или простодушных и миролюбивых капитанов промышленности толкнули к военным действиям перемены, принесенные чудодейственными силами новых технологий и новое мировое соперничество; была ли война заранее спланирована, объявлена к определенному сроку и с четко определенными целями, или имела место лишь цепь разрозненных, заранее не предусмотренных акций, каждая из которых была реакцией на конкретную причину. Весьма вероятно, что и в том, и в другом случае (в пользу обеих версий имеются сильные аргументы, но скорее всего их противоречивость только кажущаяся) последняя четверть текущего столетия войдет в историю как Великая Война за Независимость от Пространства. В ходе этой войны центры принятия решений, вместе со всеми расчетами, на основе которых они принимаются, последовательно и неуклонно освобождаются от территориальных ограничений – ограничений, налагаемых местоположением.

Рассмотрим подробно данлэповский принцип. Нанимаемые из местного населения наемные работники, обремененные семейными обязанностями, домовладением и т. д., не могут с легкостью следовать за перемещениями компании. Функция поставщиков – делать поставки: низкие транспортные издержки дают местным поставщикам преимущества, которые тут же исчезают с переездом компании. Что касается самого “местоположения”, то оно, понятно, останется там, где было, и вряд ли может переместиться на новый адрес. Из всех названных претендентов на влияние в

управлении компанией ничем не привязаны к территории только те, “кто инвестирует”, владельцы крупных пакетов акций; они могут покупать любые акции на любой бирже и через любого брокера, при этом географическая близость и удаленность компании будет, по всей вероятности, наименее значимым фактором в принятии решения о ее покупке или продаже.

В принципе дисперсия владельцев акций пространственно не детерминирована, и только они по-настоящему свободны от пространственной детерминации. Им и только им “принадлежит” компания. Только в их власти переместить компанию туда, где разведка и расчеты обнаружат шанс на более высокие дивиденды; в их власти оставить всех, кто привязан к месту, зализывать раны, возмещать ущерб, закрывать опустевшие счета. Компания свободна перемещаться, а последствия от ее перемещений остаются на месте. Кто свободен покинуть территорию, тот свободен от последствий. Вот главный трофей в победоносной войне с пространством.

### Отсутствующие лендлорды

После войны с пространством мобильность становится самым могущественным и самым желанным стратифицирующим фактором; под его воздействием каждый день строятся и перестраиваются новые, все более глобальные социальные, политические, экономические и культурные пирамиды. Добавим, что тем, кто находится на вершине этой новой пирамиды, свобода передвижения приносит гораздо больше преимуществ, чем содержит данлэповская формула. В ней учитываются, увеличиваются и уменьшаются веса только тех конкурентов, которые могут заставить себя слушать, тех, кто способен выразить и выражает свое недовольство в виде требований. Но есть целые категории людей, привязанных к территории, о которых формула Данлэпа умалчивает, только потому, что они не в состоянии заявить о себе.

Мобильность, которую обрели те, “кто инвестирует”, у кого есть капитал, деньги, необходимые для инвестирования, означает новый, по сути беспрецедентный в своей радикальной необусловленности отрыв власти от каких бы то ни было обязанностей, от обязательств не только перед работниками, но и перед теми, кто моложе и слабее, перед еще не родившимися поколениями, от ответственности за самовоспроизводство условий жизни для всех. Короче говоря, новая мобильность принесла свободу от участия в воспроизводстве повседневной жизни и в сохранении сообщества. Возникает новая асимметрия между экстерриториальностью власти и территориальной по своей природе “целостностью жизни”: власть, разорвав пуповину и обретя способность передвигаться тотчас и без предупреждения, получила свободу эксплуатировать жизнь,

избегая последствий эксплуатации. Уход от ответственности за последствия является самым желанным и заботливо оберегаемым приобретением, которую новая мобильность обеспечивает свободно текущему, не прикрепленному к месту капиталу. Больше не нужно учитывать издержки от последствий при расчетах “эффективности” инвестиций.

Новая свобода капитала напоминает ту свободу, которой некогда пользовались отсутствующие лендлорды (absentee landlords), славившиеся обидным небрежением по отношению к кормившим их людям. Снимать пенки “прибавочного продукта” было единственным интересом, который они имели по отношению к своим земельным владениям. Здесь есть определенное сходство, но сравнение ни в коей мере не оправдывает той свободы от заботы и ответственности, которую приобрел мобильный капитал конца двадцатого века, и какой отсутствующие лендлорды никогда не имели.

Они не могли обменивать одно земельное владение на другое и потому оставались прикрепленными, хотя и очень слабо, к местности, откуда высасывали жизненные соки; это обстоятельство устанавливало практические границы теоретически и законодательно беспредельной эксплуатации, нарушение которых могло привести к оскудению или полному истощению источников доходов в будущем. На самом деле реальные пределы допустимой эксплуатации в целом были ниже тех пределов, которые допускались мысленно, а эти последние, в свою очередь, слишком часто перекрывались на практике, в силу чего отсутствующие лендлорды наносили непоправимый ущерб плодородию почвы и общей продуктивности сельского хозяйства, а потому доходы от поместий были весьма непостоянными и, как правило, снижались от поколения к поколению. Но были еще глубинные пределы, которые тем безжалостнее напоминали о своем существовании, чем более они предавались забвению и не соблюдались. Предел, как писал Альберто Мелуччи, “означает ограничение, границу, разделенность; вместе с тем он означает признание другого, иного, и признание его нередуцируемости. При встрече с инаковостью мы подвергаемся проверке особым переживанием; мы можем испытать искушение преодолеть различие силой, а можем ощутить вызов к коммуникации как стремление к постоянному обновлению [3].

В отличие от отсутствующих лендлордов раннего модерна, капиталисты и земельные брокеры позднего модерна благодаря новой мобильности и высокой ликвидности своих ресурсов вообще не сталкиваются с какими-либо реальными – непреодолимыми, надежными, прочными – ограничениями, которым нельзя не подчиняться. Они замечают и уважают только административно установленные барьеры, преграждающие свободное движение капитала и денег. Таких барьеров, однако, очень немного, расставлены они нечасто, да и на ту малость, которая уцелела, оказывается чудовищное давление с тем, чтобы снизить их действенность или вообще сровнять с землей. Но даже при отсутствии предела остается место для “столкновения с инаковостью”. Но

если столкновение случится, если “иная”, “другая” сторона попытается поиграть мускулами и даст почувствовать свою силу, капиталу нетрудно будет упаковать вещи и найти более гостеприимную, то есть несопротивляющуюся, податливую среду обитания. Поэтому слишком мала вероятность того, что кто-то попытается “уменьшить разницу силой” или захочет принять “вызов к коммуникации”.

Чтобы “силовое” или “коммуникативное” взаимодействие состоялось, нужно чтобы “инаковость” распознали и заметили, а чтобы ее заметили, ей надо сначала конституироваться в некую крепкую, неподатливую целостность. Однако шансы на конструирование такой целостности стремительно убывают. Для сплочения изнутри нужен настойчивый, действенный агрессор. Однако общее следствие от новой мобильности таково, что у капитала и финансов редко возникает нужда сгибать несгибаемое, расчищать завалы на пути и преодолевать стойкое сопротивление, а если все-таки возникает, то ее можно удовлетворить каким-нибудь более мягким способом. Капитал всегда может перебраться в более спокойное место, если взаимодействие с “инаковостью” потребует дорогостоящего применения силы или утомительных переговоров. Незачем связываться, если можно уклониться.

### **Свобода передвижения и самоконституирование обществ**

Глядя назад в историю, можно задать вопрос: в какой степени геофизические факторы, включающие естественные и искусственные границы территориальных единств, а также популяции людей с разной идентичностью и *Kulturkreise* вместе с их различием “внешнего” и “внутреннего”, в какой степени все традиционные объекты географической науки были в сущности лишь производными от материальных и искусственных “ограничителей скорости” и от их концептуализации, а если брать более обобщенно, производными от затрат времени и средств, ограничивающих свободу передвижения.

Пол Вирилио недавно утверждал, что объявленный Френсисом Фукуямой “конец истории” выглядит явным преувеличением и что сейчас с большим основанием можно говорить о “конце географии” [4]. Расстояние больше не имеет значения, да и саму идею физико-географической границы становится все труднее поддерживать в “реальном мире”. Вдруг обнаружилось со всей ясностью, что разделенность континентов и всего мира в целом было функцией расстояний, некогда казавшихся реальными благодаря примитивности транспорта и трудностям путешествия.

На самом деле, не будучи ни объективным, ни безличным, ни физически “данным”, расстояние является продуктом общества; расстояние варьируется в зависимости от скорости, с какой его можно преодолеть (а в денежном выражении – в зависимости от затрат на достижение этой скорости). Все остальные социально произведенные факторы конституирования, обособления и поддержания коллективных идентичностей, такие как государственные границы и культурные барьеры, в ретроспективе оказываются производными от скорости.

Может быть в этом и заключается причина того, что “реальность границ” почти во все времена была, как правило, стратификационным признаком: элиты богатства и власти были настроены более космополитично, чем остальное население, в прошлом, и так же настроены сегодня. Во все времена они создавали свою собственную культуру, имеющую мало общего с теми границами, которые крепко удерживали народ попроще. У них всегда было больше общего с элитами за границей, чем с остальным населением внутри границ. В этом, по-видимому, заключается причина того, что Билл Клинтон, выразитель мнений самой могущественной на сегодняшний день элиты в мире, недавно объявил о том, что впервые в истории нет разницы между внутренней и внешней политикой. И действительно, что в жизненном опыте современной элиты заставляет различать “здесь” и “там”, “внутри” и “снаружи”, “близко” и “далеко”? В эпоху взрыва коммуникаций, когда мгновение сжалось до мельчайшей доли секунды, пространство и пространственные маркеры теряют свое значение; по крайней мере для тех, кто может придать своим действиям скорость электронного письма.

Противопоставление “внутри” и “снаружи”, “сюда” и “туда”, “близко” и “далеко” показывает меру прирученности, одомашненности, освоенности различных, как социальных, так и природных, фрагментов окружающего мира.

Близкое, то, что под рукой, – это прежде всего то, что привычно, знакомо, известно до банальности; предметы и люди, которых видели, встречали, использовали, с которыми взаимодействовали каждодневно, которые вплетены в привычную рутину повседневных дел. “Близкое” – это пространство, внутри которого можно чувствовать себя *chez soi*, дома; где никогда, или почти никогда не теряешься, не лезешь за словом в карман, не сомневаешься в правильности своих поступков. А вот “далеко” – это такое пространство, куда если и попадаешь, то случайно, где нельзя предвидеть или предугадать, что произойдет, и не знаешь, как реагировать, когда что-то происходит; это пространство наполнено малознакомыми объектами, на которые нельзя положиться и в отношении которых не чувствуешь никаких обязательств проявлять заботу. Оказаться “далеко” – нелегкое испытание; пуститься “вдаль” значит выйти за пределы своего понимания, потерять себя, сесть не в свои сани, кликать беду и ждать напасти.

Отсюда у оппозиции “близко-далеко” появляется еще одно принципиально важное измерение: определенности-неопределенности, уверенности в себе и сомнений. Если у кого-то проблемы, значит он “удалился”, значит ему требуется ум, хитрость, ловкость и смелость: изучать чужие правила, овладевать ими методом проб и часто очень дорого стоящих ошибок – для этого не обязательно куда-то ехать. Идея “близости”, с другой стороны, выступает как непроблематичность; здесь хватает и безболезненно приобретенных привычек, а привычки есть привычки, они не давят, не требуют никаких усилий и не дают повода для терзаний и сомнений. Все, что принято понимать под “местным сообществом”, реализуется в оппозиции “здесь” и “там”, “близко” и “далеко”.

История Нового времени отмечена постоянным прогрессивным развитием средств передвижения. Перемещение грузов и людей является полем особенно радикальных и быстрых изменений; прогресс здесь, как отметил еще Шумпетер, явился результатом не умножения числа почтовых карет, а изобретением совершенно новых транспортных средств – поездов, автомобилей и самолетов. Именно доступность быстрого передвижения запустила характерный для Нового времени процесс разрушения и упадка всех локально укорененных социокультурных “тотальностей”; процесс, который первым уловил Теннис в своей знаменитой формуле перехода от *Gemeinschaft* к *Gesellschaft*.

Среди всех технических факторов мобильности особенно большую роль сыграла передача информации – способ сообщения, при котором проблема перемещения физических тел снимается, или по крайней мере становится второстепенной, малосущественной. Постепенное и неуклонное развитие технических средств позволило перемещать информацию независимо не только от ее телесных носителей, но и от тех объектов, о которых она информирует; техника освободила “означающее” от “означаемого”. Сепарирование потоков информации от передвижения ее носителей и объектов привело, в свою очередь, к дифференциации скоростей; скорость передачи информации намного превзошла скорость перемещения тел – об изменении ситуации мы узнаем гораздо быстрее, чем можем прибыть на место. В конечном итоге появление глобальной компьютерной сети изменило, в информационном плане, само значение “путешествия” (и понимание “расстояния”, которое должно быть покрыто) и открыло, как в теории, так и на практике, моментальный доступ к информации через весь земной шар.

Общие последствия произошедших буквально в последнее время изменений огромны. Их влияние на взаимоотношение процессов социальной ассоциации и диссоциации широко отмечены и весьма подробно описаны. Подобно тому как “сущность молотка”

постигается в тот момент, когда он ломается, мы сейчас начинаем яснее, чем прежде, видеть ту роль, которую играют время, пространство и средства их укрощения в формировании, стабильности/нестабильности и перерождения социокультурных и политических тотальностей. Так называемые “тесно связанные сообщества” минувшего, как мы теперь видим, возникали и сохраняли жизнеспособность благодаря разрыву между практически моментальной коммуникацией внутри мелкомасштабного сообщества (размер которого детерминировался врожденными человеческими качествами (“wetware”), а потому ограничивался естественными пределами человеческих способностей видеть, слышать, запоминать) и огромными затратами времени и материальных ресурсов, необходимых для передачи информации между сообществами. С другой стороны, характерные для сегодняшнего дня хрупкость и недолговечность сообществ представляются прежде всего результатом преодоления и уничтожения этого разрыва: коммуникация внутри сообщества не имеет никаких преимуществ перед коммуникацией между сообществами, если обе коммуникации происходят мгновенно.

Майкл Бенедикт следующим образом суммирует наше ретроспективное изыскание и новое понимание тесной связи между скоростью передвижения и социальной сплоченностью: “Всякое единство, возможное в малых сообществах благодаря почти мгновенной и не требующей особых затрат коммуникации, осуществляемой голосом, объявлениями и записками, разрушается при увеличении масштаба. Социальная сплоченность на любом уровне есть функция согласия и наличия общих знаний, и если нет постоянного возобновления и взаимодействия, то решающее значение для сохранения сплоченности приобретает строгое с ранних лет образование и сохранение культурной памяти. Напротив, социальная эластичность происходит от забвения и дешевизны коммуникации” [6].

Отметим, что союз “и” в последнем цитируемом предложении лишний. Легкость забывания и дешевизна (как и быстрота) коммуникации суть два аспекта одного условия, которые едва ли можно рассматривать по отдельности. Дешевая коммуникация означает быстроту получения, удержания и вытеснения приобретенной информации, а вместе с ней и быстрое поступление новостей. Пропускная способность человеческого общения (“wetware”) практически не изменилась, как минимум, со времен палеолита, а дешевая коммуникация скорее топит и душит память, чем питает и стабилизирует. Пожалуй одним из самых плодотворных достижений последнего времени явилось сокращение разницы в затратах на передачу информации в местном и глобальном масштабе (куда бы вы ни отправляли электронное письмо по Интернету, вы платите по местному тарифу, что важно как с культурной, так и с экономической точки зрения). Это означает, что информация, попадающая в поле внимания и (пусть на короткое время) остающаяся в памяти, скорее всего будет исходить из совершенно разных, независимых друг от друга мест, а потому содержания сообщений скорее всего окажутся несовместимыми или взаимопогашающимися, что в корне отличается от информации, циркулирующей внутри местного сообщества, без всяких hard & soft,

опираясь только на человеческие качества (“wetware”); эта информация часто дублируется и усиливается, чем поддерживается процесс селективного запоминания.

Как пишет об этом Тимоти Люк, “пространство традиционных обществ организовано вокруг самых непосредственных способностей обычного человеческого тела”.

“Традиционные способы видения действия часто прибегают к органическим метафорам; если столкнулись, то лоб в лоб, если справедливость, то “око за око и зуб за зуб”, если разговор, то сердечный, если вместе, то плечом к плечу, соседство – бок о бок, дружба – рука об руку, изменения – шаг за шагом.”

Ситуация изменилась до неузнаваемости с развитием таких средств, которые позволили вывести конфликты, солидарность, бой, разговор и установление справедливости за пределы досягаемости руки и глаза. Пространство стало “обработанным, отцентрованным, организованным и нормализованным” и вдобавок эмансипированным от естественных границ человеческого тела. С тех пор пространство “организуется” техникой, скоростью ее действия и эксплуатационными расходами.

“Технически организованное пространство имеет радикальные отличия; оно построено по инженерным расчетам, а не богом дано; искусственное, а не естественное, оно опосредуется техническими средствами, а не непосредственным человеческим участием (wetware), рационализированное, а не общностное, национальное, а не местное” [7].

Построенное по инженерным расчетам пространство модерна стало жестким, твердым, долгосрочным и неподатливым. Бетон и сталь стали его плотью, сеть железных и шоссейных дорог – его кровеносной системой. Авторы утопий модерна не делали различий между социальным и архитектурным порядком, социальными и территориальными единствами и делениями; для них, как и современных им стражей социального порядка, ключ к социальной организации лежал в организации пространства. Социальная тотальность должна быть многоуровневой иерархической системой территориальных сообществ с супралокальной властью государства, громоздящегося на вершине и надзирающего за всем целым, оставаясь недоступным для каждодневного надзора.

Поверх этого территориального, урбанистического, архитектурного, математически рассчитанного пространства с появлением глобальной информационной сети накладывается новое, третье, кибернетизированное пространство человеческого мира. Элементы этого пространства, согласно Полу Вирилио, “лишены пространственных характеристик, но вписаны в сингулярную темпоральность мгновенного распространения. Людей нельзя больше разлучить ни физическими преградами, ни временной дистанцией. С объединением компьютерных терминалов и видеомониторов в общую сеть различия между здесь и там теряют всякий смысл” [8].

Как и большая часть утверждений, высказанных по поводу “человеческого” условия как такового – единого для всех, – данное высказывание не вполне корректно. “Объединение компьютерных терминалов” оказывает различное влияние на положение людей из разных групп. И некоторых – фактически очень многих – до сих пор, как и раньше, можно разлучить “физическими преградами и временной дистанцией”; при этом разлука стала беспощадней и оказывает более глубокое психологическое воздействие, чем прежде.

### **Новая скорость, новая поляризация**

Одним словом, технологическое уничтожение пространственно-временных расстояний ведет не к гомогенизации человеческого условия, а к его поляризации. Технология позволяет некоторым смертным эмансипироваться от территориальных ограничений, делает смыслы, конституирующие местные сообщества, экстерриториальными и тем самым отнимает у территории, в которую остальные по-прежнему заключены, ее значение и способность формировать у людей идентичность. Одним это сулит беспрецедентную свободу от физических преград, невиданные возможности передвижения и действия на расстоянии. Другим – мешает освоить, обжить ту местность, обрести свободу от которой и уехать куда-нибудь у них мало шансов. Когда удаленность “теряет всякий смысл”, тогда и местные сообщества, разделенные временем и пространством, теряют свое значение. Лишь немногим это сулит свободу породить новые смыслы, зато на долю других остается одна бессмысленность. Кто-то теперь может уехать – из любого места – по желанию. Остальные беспомощно глядят на тот участок земли, от которого всю жизнь будут отталкиваться ступнями.

Информационные потоки текут независимо от информационных носителей; теперь для установления новой системы значений и отношений не требуется, как раньше,

перемещения и перестановки тел в физическом пространстве. Для некоторых – для мобильной элиты, элиты мобильности – это буквально означает утрату властью всяких физических характеристик и обретение ею бестелесности. Элиты передвигаются в пространстве и делают это быстрее, чем когда либо прежде, но быстрота действия и плотность сетей власти, которые они ткнут, не зависят от их передвижения. Обретя “бестелесность”, главным образом, в ее финансовой форме, власть предрержащие становятся действительно экстерриториальными, даже если телом они остаются “на месте”. Их власть в конечном счете исходит не “от мира сего” – не от физического мира, в котором они строят свои дома и офисы с мощной охраной, ибо они свободны от вторжения непрошенных соседей, отрезаны от всего, что можно назвать местным сообществом, недоступны ни для кого, кому в отличие от них суждено жить в сообществе.

Новая элита познала опыт внеземной власти – невероятное и пугающее сочетание эфемерности и всемогущества, бестелесности и способности формировать действительность; этому опыту сегодня неустанно слагают панегирик “новой свободы”, воплощенной в пронизанном электричеством “киберпространстве”. Интересно, что Маргарет Вертхейм подметила “аналогию между киберпространством и христианской концепцией небес”: “Точно так же как христиане рассматривали небеса как идеализированное царство по ту сторону хаоса и упадка материального мира – а распад был слишком осязаем, поскольку рухнула целая империи, – так и в наше время дезинтеграции общества и окружающей природы современные прозелиты предлагают свое идеальное царство, стоящее “выше” и “по ту сторону” проблем материального мира. Так же как ранние христиане провозглашали небеса царством, в котором человеческая душа освободится от тлена и немощи плоти, так и сегодняшние поборники киберпространства объявляют его местом, где личность освободится от ограниченности физической телесности” [9].

В киберпространстве тела не имеют значения, но киберпространство решает, причем окончательно и бесповоротно, судьбу тел. Приговор, вынесенный на небесах киберпространства, обжалованию не подлежит, и ничто из того, что происходит на земле, не может поколебать его авторитет. Облеченные властью вершить судьбами в киберпространстве тела могущественных не нуждаются ни в телесной мощи, ни в тяжелом материальном вооружении; более того, в отличие от Антея, им не нужна никакая связь с землей, чтобы подтвердить, обосновать или проявить свою власть. Напротив, им нужна изоляция от местного сообщества, чье социальное значение трансплантировано в киберпространство и таким образом свелось к физическому значению почвы. Еще им нужно, чтобы изоляция была надежной, чтобы не было “соседства”, чтобы была защита от вторжения всего местного, чтобы была стопроцентная неуязвимость и полная обособленность; все это трактуется как “защищенность” личности, жилища и теннисных кортов. Детерриторизация власти идет, между тем, рука об руку с ужесточением структурирования территории.

В исследовании с весьма выразительным названием “Возведение паранойи” Стивен Фласти отмечает захватывающий дух взлет изобретательности и невиданное по размаху, лихорадочное и совершенно новое по своему назначению обустройство городских территорий: строительство “запретных пространств”, “предназначенных для перехвата, изгнания и фильтрации возможных пользователей”. Используя свою уникальную способность придумывать удивительно точные, проникающие в суть вещей термины, Фласти различает целый ряд пространств, которые, дополняя друг друга, образуют некий эквивалент глубоких рвов с водой и высоких башен, некогда охранявших средневековые замки. В ряду этих разновидностей Фласти называет “скользкое пространство” – “пространство, которого нельзя достичь ввиду искривления, удлинения или отсутствия подъездных путей”; “колючее пространство” – “пространство, где нельзя удобно расположиться, поскольку его охраняют вмонтированные в стены поливные машины, которые приводятся в действие всякий раз, чтобы держать на расстоянии празднующихся; “стремное” (jittery) пространство – пространство, где нельзя остаться незамеченным благодаря постоянному курсированию патрулей и/или дистанционному слежению. Эти и другие “запретные пространства” служат лишь для того, чтобы воплотить социальную экстерриториальность новой над-местной элиты в материальную, телесную изолированность от местного сообщества. Кроме того, они довершают дезинтеграцию локально укорененных форм совместной, коммунальной жизни людей. Экстерриториальность элит обеспечивается самым что ни на есть материальным способом, физически преграждая доступ всем, кому не выдано разрешение на вход.

Одновременно с этим количество и размеры городских пространств, где жители разных районов могут лицезреть друг друга, заводить случайные знакомства, свидетельствовать свое почтение и получать почтение от других, беседовать, ссориться, убеждать и соглашаться – поднимать свои личные проблемы до уровня общественных и давать свою приватную трактовку проблемам общества, пространств, которые Корнелиус Касториadis назвал “приватно-публичными” агорами, стремительно уменьшаются. Немногие остающиеся пространства приобретают все более узкую функциональность, что не смягчает, а еще больше усиливает последствия дезинтеграционных процессов. Об этом и пишет Стивен Фласти: “...На смену традиционно публичным местам постепенно приходят частным образом произведенные (нередко на общественные средства), находящиеся в частном владении и распоряжении пространства для массовых скоплений, то есть пространства для потребления... Доступ определяется платежеспособностью... Здесь правит эксклюзивность, обеспечивающая высокий уровень контроля, необходимый для того, чтобы предотвратить вторжение беспорядка и неэффективности в размеренный ход коммерции” [10].

Элиты выбирают изоляцию и оплачивают ее щедро и охотно. Остальное население

оказывается отрезанным и вынуждено платить высокую культурную, психологическую и социальную цену своей новой изоляции. Те, кто неспособен сделать свое обособленное проживание предметом выбора и оплатить издержки на обеспечение обособления, стали современным аналогом жертв огораживания эпохи раннего модерна; от них просто-напросто “огородились”, не спросив согласия, закрыли доступ к тому, что еще недавно было “общинным”, взяли под арест, прогнали и награждают их хорошим тычком всякий раз, когда они проникают за изгородь, не заметив предупреждающих сигналов “частная собственность” или не распознав смысл намеков и советов, не словами выраженных, но от этого не менее однозначных.

Городская территория превратилась в поле непрерывной войны за пространство, которая иногда выливается в публичное зрелище внутригородских бунтов, ритуальные препирательства с полицией, массовый дебош футбольных фанатов; эта война каждодневно ведется за завесой публичной (опубличенной) официальной версии рутинного городского порядка. Лишенные власти и отверженные жители “огороженных”, зажатых со всех сторон, обездоленных территорий в ответ переходят к агрессивным действиям; они пытаются установить на границах своих напоминающих гетто районов “запрещающие проход” сигналы собственного изготовления. Следуя извечной привычке бриколера, они используют для этой цели все, к чему удастся приложить руку: “ритуалы, странную манеру одеваться, шокирующие своей нелепостью повадки, нарушение правил, битье бутылок, окон, голов, риторические вызовы закону” [11]. Независимо от результата эти попытки остаются непризнанными, и часто в соответствии с общепринятым мнением в официальных сводках их трактуют как нарушение правопорядка и не видят того, чем они фактически являются: попытками заявить требования от имени территорий и, таким образом, просто следовать новым правилам территориальной игры, вкус к которой уже ощутили все.

Возведение элитой фортификаций и агрессивная самозащита со стороны тех, кто остался за изгородью, взаимно усиливают друг друга, что приводит к эффекту, хорошо предсказанному Грегори Бейтсоном в теории “схизмогенетических цепей”. Согласно этой теоретической модели, схизма, то есть раскол, возникает и становится необратимой, в ситуации когда “поведение X, Y, Z есть стандартная реакция на X, Y, Z ... Если, например, образцы

X

,

Y

,

Z

включают самовосхваление, то существует вероятность того, что, если на самовосхваление ответят самовосхвалением, то каждая группа будет доводить другую сторону до крайних форм выражения этого образца; этот процесс, если его ничем не ограничить, может привести только ко все большему обострению соперничества, а в

конечном счете к враждебности и распаду целой системы.

Это пример “симметричной дифференциации”. Какова альтернатива? Что произойдет, если группа В не продемонстрирует поведение X, Y, Z в ответ на вызов X, Y, Z группы А? Схизмогенетическая цепь и тогда не прервется, но реализуется в форме “комплементарной”, а не симметричной дифференциации. Если, например, настойчивое поведение не получит должного отпора, а встретит покорность, то “скорее всего эта покорность приведет к еще большей настойчивости, которая в свою очередь приведет к новой покорности”, что также приведет к “распаду системы” [12].

Разница в последствиях выбора между двумя стратегиями минимальна, но для сторон, связанных схизмогенетической цепью, различие между стратегиями есть различие между уважением и унижением, человеческим достоинством и его утратой. Можно с уверенностью предсказать, что стратегия симметричной дифференциации всегда предпочтительнее комплементарной. Последняя годится проигравшим или тем, кто смирился с неизбежностью поражения. Однако независимо от выбора стратегии некоторые тенденции неизбежно отпразднуют победу, а именно новое дробление городского пространства, сокращение и исчезновение публичных пространств, отпадение от городского сообщества, разъединение и сегрегация, а самое главное, экстерриториальность новой элиты и насильственное прикрепление к территории остальных.

Если элита ощущает новую экстерриториальность как пьянящую свободу, то остальные воспринимают территорию не как “малую родину”, а как место заключения, что особенно унижительно на фоне демонстративной свободы передвижения других.

Дело не только в том, что “прикрепленность”, неспособность передвигаться, куда пожелаешь, недоступность лучших условий для жизни источают смрад пораженчества, ущемляют человеческое достоинство и обделяют радостями жизни, которыми пользуются другие. Депривация проникает глубже. “Локальность” в новом мире высоких скоростей не является тем, чем она была во времена, когда информация переносилась только вместе с телом своего обладателя; локальность и локализованное население имеют мало общего с “местным сообществом”. Публичные пространства, всякого рода агоры и форумы, то есть места, где решаются текущие дела, где общественное делается достоянием общества, где мнения формируются, проверяются и кристаллизуются, где сопоставляются суждения и выносятся приговоры, – эти пространства вслед за элитами утратили всякую связь с территорией; они первыми подверглись детерриторизации и стали недоступны для подлинно человеческого общения (wetware) населяющих

территорию жителей. Лишившись своих “вожаков”, местное население уподобилось разбредшемуся стаду.

Пол Лазарсфельд писал о “местных лидерах мнения”, которые просеивают, оценивают и перерабатывают для остальных сообщения, поступающие “извне” через средства массовой информации; чтобы выполнять эти функции, “местные лидеры мнений” должны быть прежде всего услышаны местным сообществом, они должны иметь агору, место, где люди могли бы сходиться вместе, чтобы поговорить и послушать. Именно такое место обеспечивает голосам “местных лидеров мнений” возможность соревноваться с голосами издалека и превосходить в убедительности обладающий несравненно большими ресурсами авторитет, утрачивающий свою действенность по мере удаленности. Я сомневаюсь, что Лазарсфельд пришел бы к тому же выводу, повтори он свое исследование сейчас, полвека спустя.

Нильс Кристи недавно попытался в аллегорической форме осмыслить логику этого процесса и его последствий [13]. Поскольку его текст пока недоступен широкому читателю, я приведу длинную цитату:

Моисей вернулся с горы. Подмышкой он нес правила, выбитые в граните, продиктованные ему тем, кто выше гор. Моисей лишь возвестил, а народ – *populus* – принял... Позже Иисус и Магомет выполнили ту же функцию. Это – классические случаи “пирамидальной справедливости”.

Другая картина: женщины приходят к источнику, к колодцу или удобному спуску к реке... Набрать воды, постирать белье, обменяться новостями и дать им оценку. Отправная точка разговора – всегда конкретный поступок и конкретная ситуация. Поступок и ситуация описываются, сравниваются с другими случаями, произошедшими в прошлом или где-то в другом месте: правильно или неправильно, красиво или некрасиво, сильно или слабо. Постепенно, но далеко не всегда, складывается некое общее понимание происходящего. Это процесс, в котором создаются нормы. Это классический случай “эгалитарной справедливости”...

Колодцы ушли в прошлое. В модернизированных странах какое-то время мы ходили в небольшие залы, где стояли автоматические стиральные машины; бросив монетку, мы клали в них грязную одежду и доставали чистую. Между этими действиями у нас было время поболтать. Сейчас эти автоматы ушли в прошлое... Гигантские рынки оставляют

еще какую-то возможность для случайных встреч, но по большей части они слишком велики для выработки эгалитарной справедливости. Слишком велики, чтобы встретить старого знакомого, и слишком суматошны и многолюдны для долгих разговоров, необходимых для установления правил поведения...

Добавим, что конструкция этих рынков заставляет людей постоянно двигаться, смотреть по сторонам, без конца удивляться и забавляться – но не слишком долго – всякой притягивающей взгляд всячиной; конструкция не побуждает их остановиться, посмотреть друг на друга, поговорить друг с другом, задуматься, поразмышлять, обсудить что-то, что выходит за пределы поля зрения, и провести время без коммерческой пользы...

Аллегии Кристи особенно ценны тем, что обнаруживают этические последствия снижения роли публичных пространств. Места встреч были кроме того местами, где вырабатывались нормы, поэтому справедливость могла вырабатываться и распределяться горизонтально, спланивая, таким образом, разговаривающих в сообщество, отделенное и сплоченное общими критериями оценивания. Следовательно, территория, лишенная публичного пространства, дает мало шансов для обсуждения норм, столкновения оценок, конфликтов и примирений. Суждения о том, что такое хорошо и что плохо, красиво и уродливо, прилично и неприлично, полезно и бесполезно могут нисходить только сверху, куда способно проникнуть только самое пытлиное око; приговор нельзя обжаловать, потому что судей нельзя толком ни о чем спросить: судьи не оставили своего адреса – даже электронного – и никто не знает наверняка, где они живут. Не осталось места для “местных лидеров мнений”; нет места для “местного мнения” как такового.

Приговоры могут абсолютно не соответствовать местному ходу жизни, да никто и не думает проверять или соотносить приговоры с опытом людей, чье поведение выносится на суд. Рожденные за пределами всякого жизненного опыта и известные местным получателям в лучшем случае понаслышке, вердикты оборачиваются иногда страданиями, даже если предназначаются для удовольствия. Всякое порождение экстерриториального гения входит в локальную жизнь карикатурой, мутантом, монстром. При этом у местных отбираются все этические рычаги, экспроприируются все средства, способные ограничить наносимый ими вред.

Литература

1. *Dunlop A.* (with B. Andersen) How I saved bad companies and made good companies great. New York: Time Books, 1996. P. 199-200.
  
2. *Duclos D.* La cosmocratie, nouvelle classe plane taire // Le Monde Diplomatique. August. 1997. P. 14.
  
3. *Melucci A.* The playing self: Person and meaning in the planetary society. Cambridge, 1966. P. 129.
  
4. *Virilio P.* Un monde surexpose : Fin de l'histoire, ou fin de la ge ographie? // Le Monde Diplomatique. August. 1997. P.17.
  
5. *O'Brien R.* Global finacial integration: The end of geography. London: Chatam House/Pinter, 1992.
  
6. *Benedikt M.* On cyberspace and virtual reality // Man and information technology: Lectures from an international symposium arranged by the Committee on Man, Technology and Society at the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) in 1994. Stockholm, 1995. P. 41.
  
7. *Luke T.* Identity, meaning and globalization: Detraditionalization in postmodern space-time compression // Detraditionalization / Ed. by P. Heelas, S. Lash, P. Morris. Oxford: Blackwell, 1996. P. 123, 125.
  
8. *Virilio P.* The lost dimension. New York: Semiotext(e), 1991. P. 13.
  
9. *Wertheim M.* The pearly gates of cyberspace // Architecture of fear / Ed. by N. Elin. New York: Princeton Architectural Press, 1997. P. 296.

10. *Flusty S.* Building paranoia // Architecture of fear. P. 48-49, 51-52.

11. *Hebdidge D.* Hiding in the light. London: Routledge, 1988. P. 18.

12. *Bateson G.* Steps to an ecology of mind. Frogmore: Paladin, 1973. P. 41-42.

13. *Christie N.* Civility and state. Unpublished Manuscript.

*Перевод с английского кандидата социологических наук О.А. Оберемко*